

ДОЛГАЯ НОЧЬ

Пятнадцать минут третьего. Это не закончится никогда. Он засыпает, а через час снова орет как сумасшедший. Муж побежал подогреть молоко в бутылочке. Тише, сынок, тише, сейчас папа придет, принесет тебе молочко. Это уже вторая бутылка. До утра будет еще две-три. А если он не уснет, тогда что? Носить его нет сил. Вчера по очереди с мужем сидели с ним, собирали кубики, по часу. Я проснулась в половине шестого, а они на полу среди игрушек спят — залюбовалась. Господи, как спать хочется. Утром легче. Но утром муж уходит на работу. Он тоже недосыпает, ходит с опухшими глазами. Я не могу сочувствовать, я ничего сейчас не могу.

Снова кричит. Папа не принес молоко? Половина четвертого. Так значит, я заснула. Что делать? Тише, тише, тише. Ношу. Не кричит только на руках. Лишь бы не выронить. Сейчас чуть не упала — сплю на ходу. Муж спит. Еще немного и разбужу его. Два дня назад в отчаянии жгли спички, чтобы успокоить сына. Молчал, когда смотрел на огонь.

Как же так получилось, что я пошла на это? Это была страсть. Мы чувствовали друг друга. А потом он уехал на три дня, и я поняла, что хочу быть с ним. Сейчас все по-другому. Я злюсь. Он забрал у меня мою жизнь. Меня больше нет. Я функция. Я плохая мать и плохая хозяйка. Мне все это тяжело. В доме бардак, хотя все время что-то убираю. Нет денег — нужно ходить на поклон к моим родителям. Разбудила мужа, хотела переложить ему на руки сына, но тот проснулся и закричал. Пришлось снова взять его. Мужу спать не дала — очень раздражена.

Пятый час. Вроде уснул. Потихоньку выкладываю и ложусь рядом. Но заснуть уже не могу. Ненавижу.

Где бы я была сейчас — не знаю. Возможно, преподавала бы в университете или писала статьи по психологии, гуляла бы по нежному песку балтийского берега, занималась йогой, читала книги, медитировала. Мечты одна за другой рушатся, а на новые нет сил. Я постарела, все чаще не могу смотреть в зеркало. Я стала скучна самой себе. Неужели в моей жизни больше ничего не будет? Куда же я шла? И куда пришла?

Шесть утра. Проснулась в ужасе. Приснилось, как тогда, после рождения, сын не начал дышать. Я видела, как его, синего, вытащили и унесли в другую палату. Муж был на родах и побежал вслед за акушером. Я осталась одна. И помню — Господи, простишь ли меня когда-нибудь, — я подумала, что если не выживет, то вот и все, разойдемся, и будет легче. А потом прибежал муж и сказал, что в кислородной камере сын задышал и теперь все в порядке, богатырь, 4 кг.

Разрыдалась. Муж проснулся, не понимает.

— Прости меня, родной. Вы самое дорогое, что есть у меня. Как же я вас люблю! — я бросилась обнимать мужа.

— Люблю, — неожиданно за спиной прозвучал голос нашего сына. Он смотрел на меня внимательными, широко открытыми глазами и словно говорил (и сейчас, при воспоминании, к горлу подкатывает комок): «Не волнуйся, мама, я теперь с вами, и все будет в порядке».

— Люблю, — улыбнувшись, повторил он. Это было первое его слово.

ПЕРВЫЙ СНЕГ

— Дед, а дед, а ты молодым был или старым родился?
— Что говоришь? Молодым? Был.
— А чего такой белый тогда?

Уже давно повелось у Паши так начинать разговор с дедом. Вначале-то, конечно, подразнить хотел, посмеяться, но только не получилось. Дед не обижался ни на что и сам первый над собой шутил. И над тем, что глаза как у слепой курицы, и что ноги бастуют, ходить не хотят. Паше тогда, в первый раз, от этого спокойно так стало, безопасно. Привык он с другими все время настороже быть: этого не скажи, того не сделай — обидишь, разозлишь, получишь. Родители чуть что — в крик сразу, в школе учителя цепляются, с пацанами вообще отдельный разговор. А дед только улыбается, как дурачок, и смотрит внимательно, не отворачивается. И ведь он умный по-своему, но только ум у него какой-то добрый, не нервный.

Вот наговорил ему Паша как-то раз всего, задеть хотел, специально слова подыскивал, чтобы оскорбить, за свой плохой день на нем отыграться, а дед смотрит, улыбается так простодушно, а потом возьми да и Расскажи ему случай из своей жизни; и так рассказал, что забыл Паша про все дела и обиды свои, а только сидел и слушал почти час. Весь вечер после этого ходил словно обухом ударили.

И пошло с того раза у них такое вступление. Начнет задирать Паша деда, а тот ему историю. И всё как-то в рассказах деда по-доброму происходит. Перебирает Паша в памяти потом эти истории и думает: вот ведь плохо сделал такой-то, а в словах деда вроде и не виноват он, вроде как и не хотел и не мог хотеть, потому что хороший человек. И все у деда хорошие прям — даже злило одно время это сильно Пашу: в жизни не бывает так, все друг другу подлости делают, одно только и останавливает, что бояться. А деда послушать, так о подлости никто и не помышлял никогда. А всему причина — тревога и забота. Заботиться хотят люди, да не всегда умеют.

Не выдержал однажды Паша и бросил деду злобно:

— Скажешь тоже, не умеют. Именно не хотят. Не хотят. Все о себе только думают. Один ты такой, блаженный, живешь, да и то потому, что стремиться уже не к чему: слепой и безногий.

Хотелось Паше еще что-то грубое сказать, чтобы не заплакать, чувствовал, уже ком к горлу подкатывает, да вдруг посмотрел на деда: у того по щекам слёзы катятся, а сам улыбается, но так, что невыносимо смотреть на эту улыбку. Никогда таким не видел его.

— Ты чего, дед, обиделся? — спросил Паша, чувствуя, как у самого дыхание перехватывает.

— Я тоже не умею, — сказал тихо дед. — Я тоже не сумел.

— Чего не сумел? О чем ты?

— Позаботиться не сумел. Знаешь, Паша, как у меня волосы побелели? Они в одну ночь, мне тогда еще тридцати лет не было.

Паша затаил дыхание: раньше ни разу дед не рассказывал ему об этих своих годах — всегда о детстве либо уже о старости.

— Была у меня жена, до вашей бабушки. Красивая, но странная, необщительная. Тогда мне казалась странной. Сейчас понимаю, что это просто я не чета ей был. Молодой, мне всё погулять хотелось. Выпить любил, дрался часто. И вот когда жена на сносях уже была, рассердился я на нее сильно по глупости. Сказала она мне что-то резкое, а я возьми и хлопни дверь. Да и запил на неделю. Конец осени был, грязь везде, дороги все развозило так, что и пойдешь — не дойдешь. Так и пролежал у товарища в соседней деревне под самогонным аппаратом, жалуясь на свое житье, пока на улице не подморозило. Как сейчас помню: подхожу я к своему дому, голова трещит, во дворе лужа тонким слоем льда покрылась, я поскользнулся и напрямик в эту лужу плашмя упал. Холод собачий, я злющий, всё течет. В таком виде и ввалился в дом. Она на кровати лежит, а в руках младенец. Как увидел я, так и застыл на пороге. Родила. Опомнился, бросился к ним, а они лежат, будто только уснули, мирные и холодные. А возле кровати лужа крови натекла. Только и хватило у жены сил, чтобы сына нашего к себе подтянуть и прижать. Так и замерзли. Всю ночь я просидел на полу в этой крови.

А утром вышел во двор — всё вокруг снегом засыпало, белым-бело вокруг. Первый снег лег. Меня к вечеру в пятнадцати

километрах за деревней нашли, на обочине лежал прямо на снегу, а как попал туда — не помню.

Голова седая, пальцы на ногах отморожены, говорить долго еще не мог, но не позволил Господь умереть, велел помнить и грех свой замаливать. Десять лет после этого я плотничал да по монастырям ковылял. Потом бабушку вашу встретил. Всего себя ей отдать хотел, думал — научился о других печалиться, да только получилось, что больше она обо мне заботилась, так в заботах и умерла раньше времени. Пять лет Бог только и дал нам, чтобы маму вашу выкормить. А меня оставил дальше учиться.

Дед замолчал и улыбнулся. Только сейчас Паша понял, какая боль, какое страдание, побелившее деду волосы, пряталось за этой улыбкой. Полуослепшие глаза деда тревожно глядели на Пашу и старались не упустить ни одного движения души родного человека.

ПРЕДАТЕЛЬ

— **Н**у и кто ты такой? — она оценивающе посмотрела на новенького, одиноко сидевшего в их дворовой песочнице. Он был бледный, какой-то слабый, утомленный и при этом одет с иголки, не по-здешнему: в белой рубашечке, гольфах, с прилизанной челкой. Перед ним стоял импортный трейлер, совершенно невообразимый в этой песочнице, какой можно было увидеть только на картинках. Попав в поле зрения дерзкой и самоуверенной шестилетки, он, казалось, сразу стал еще меньше, еще тоньше и ни жив ни мертв сидел, уставившись в песок, и молчал.

— А если я заберу сейчас твою машинку? — завелась девчонка и, не дождавшись ответа, схватила грузовик и пошла прочь.

Мальчик подскочил на ноги, но, вопреки ее ожиданиям, не побежал за ней и не стал кричать. Он стоял, смотрел вслед уходящей и дрожал. Ей вдруг стало жалко его. Конечно, отбирать грузовик она не собиралась, хотя тот и был необыкновенным, хотела только подразнить молчуна, проучить его, а заодно немного

развлечься — делать-то все равно нечего. Но неожиданная реакция заинтересовала ее. Она вернулась, бросила машину в песок и спросила:

— Тебя как зовут?

...

С этого дня и вплоть до первого класса они были не разлей вода. Его звали Дима, ее — Катя. У обоих родители были в разводе, только Димкин папа, полковник, время от времени появлялся, привозил игрушки из загранки, модные вещички, а отец Кати, когда ей исполнилось пять лет, исчез из ее жизни. Она долго не могла принять этого, плакала, вспоминая, как он играл с ней (себя она помнила с двух лет), но когда через год он однажды появился в их дворе и хотел обнять ее, она убежала, не смогла вынести внутреннего конфликта.

С Димкой вместе бегали на Лефортовский пруд ловить бычков, которых потом выбрасывали в Яузу, вместе гуляли по московским переулкам и втайне от взрослых забирались на заброшенные стройки. В гостях у Димы Катя бывала часто, выдумывая каждый раз какую-нибудь важную причину: то у куклы сегодня день рождения и им просто необходимо по этому поводу выпить чаю, то на небе неожиданно сгустились тучи и вот-вот должен был начаться ливень, так что добежать до своего подъезда, не промокнув до нитки, она бы просто не успела. Мама Тимоши была рада, что у ее застенчивого сына появилась такая славная подружка, и устраивала им небольшие пирушки, потчужа их чаем с различными сладостями. К себе Катя Димку никогда не звала, понимая, что принимать и угощать их у нее дома будет некому, так как мама все время на работе. А без этого какие гости? Да он никогда и не просился — видимо, что-то чувствовал такое.

Несмотря на это, с каждым днем отношения их крепили и росло какое-то новое ощущение — тайны, сокровенности.

...

Прошло лето, и наступил долгожданный первый класс. Катя с нетерпением ждала этого дня. У нее было замечательное новенькое платье и невиданной, она это точно знала, красоты небольшой рюкзачок, который мама достала где-то по благу. На линейке

она чувствовала, что была неотразима. Но Димку до начала уроков увидела только один раз издали, поэтому решила во что бы то ни стало найти его на прогулке после уроков. После третьего урока она, выйдя на улицу, почти сразу увидела его на углу школы с тремя первоклашками и побежала туда.

— Привет, Димка. Ты где был на линейке? — подбежав, сказала она.

Димка продолжал что-то тихо говорить одному из мальчишек, не обращая на нее внимания.

— Ты чего не отвечаешь? — начала злиться Катя.

Дима посмотрел на нее, приставил руку к уху и сделал вид, что он глухой и ничего не слышит, отчего ребята, с которыми он стоял, покатались со смеху.

Катя в недоумении отошла в сторону, ощущая, как земля уходит у нее из-под ног и внутри наливается глухая ярость. Это было предательство. Пройдя несколько шагов, она резко повернулась и как была, в новеньком платье и с фирменным рюкзаком за плечами, бросилась на Димку. Схватив его за пиджак, она потащила его за школу. Мальчишки в изумлении побежали за ними. Пару раз Дима пробовал высвободиться из мертвой хватки Кати, но она была крепче его, да к тому же силы ей придавал гнев. Она повалила его в канаву за школой, прыгнула сверху и стала наотмашь бить его кулаками. Она не разбирала, куда попадает, не чувствовала боли в своих маленьких кулачках, не видела, что порвалось платье и оторвалась ляпка ее рюкзака, а он лежал, смотрел на нее своими испуганными, как тогда, при их первой встрече, голубыми глазами и не сопротивлялся. Будто чувствовал, что заслужил это.

...

Они учились вместе до четвертого класса, сидели через две парты друг от друга, но больше она не замечала его, он будто стерся для нее. И теперь, много лет спустя, став взрослой, она так и не может вспомнить о нем ничего из этих четырех лет. В памяти навсегда остался лишь импортный трейлер, пруд с бычками и эти голубые виноватые глаза.

СПРАВЕДЛИВОЕ НАКАЗАНИЕ

Павел был самым старшим среди нас. Он учился в восьмом или девятом классе и отчего-то возился с нами, малышами. Когда он выходил во двор, со всех домов в округе начинали подтягиваться первоклашки-второклашки, мальчишки и девчонки без разбору. Обычно собиралось человек десять-пятнадцать — и начиналась жизнь, которой мы с нетерпением ждали, сидя дома за уроками. Павла уважали все, слушались его беспрекословно. Он был нашим предводителем.

Игры были разные, часто придумываемые на ходу, но в каждую вкладывалась изюминка, и мы отдавались им со страстью — не жаловались на усталость, терпели ушибы, чтобы только не выйти из команды и не пойти скучать домой. Меня поражало тогда, как ловко он мог устроить соревнования из совершенно, на наш детский взгляд, невообразимых занятий. Так, например, мы с азартом и отчаянием овладевали искусством строительства передвижных крепостей из обломков кирпичей, а затем в самодельных носилках на скорость перетаскивали эту тяжесть в наш специально огороженный коттеджный поселок (нам он тогда представлялся чем-то вроде загородной королевской резиденции), где выгружали и заново собирали наши полуразвалившиеся постройки, замазывали глиной и просто грязью стены, кто-то даже умудрялся делать ров и подводить к нему воду из какой-нибудь лужи на дороге, украшать ветками и делать флаг. Уходило на это обычно часа два, не меньше. Потом комиссия из пяти-шести отобранных инженеров-архитекторов и военных стратегов во главе с Павлом оценивала красоту, надежность и мобильность наших творений и выбирала победителей. Их называли «великие комбинаторы» и вносили их имена на доску почета на задней стене одного из гаражей у нас во дворе. Были игры и попроще. Если кто-то выносил мяч, то играли в «Я пингвин, несу яйцо», где нужно было, зажав мяч между ног, донести его из одного гнезда до другого и при этом не рассмеяться. Когда участвовал сам Павел, то донести не мог никто. Округлив глаза, он на мгновение

замирал в выразительной позе, а потом бросал какую-нибудь остроту, и мы падали на землю в припадке смеха, забывая и про мяч, и про игру. Среди подвижных игр мы предпочитали двенадцать палочек — те же догонялки, только водящий должен был и найти всех, и убереечь палочки. Если кто-то успевал разбить палочки до того, как был осален, то все пойманные снова разбегались.

Самой же главной считалась игра «Казачьи разбойники». Двор у нас был большой: дома шли по кругу, в центре раскинулся лабиринт из нескольких десятков гаражей, а за домами — заброшенное здание бывшего детского сада, речка-вонючка и пустырь, заросший высокой травой. Уж на эту игру собирались все местные от пяти до десяти лет. Мы разбивались на команды казаков и разбойников, строили себе базы, рисовали карты и придумывали пароли. Сейчас уже не вспомнить всех тонкостей нашей игры, но точно помню, что ждали мы с нетерпением всегда одной части — обмена пленниками. С самого начала как-то повелось — возможно, это придумал сам Павел, — что мы, когда пленных накапливалось человек пять-шесть, давали им задание пройти испытания — перелезть через забор, залезть на дерево, проползти по какой-нибудь канаве. Задание необходимо было придумывать посильным и в меру опасным. Все ребята справлялись с этими испытаниями и героями возвращались в свою команду, а игра продолжалась. Удивительно, но ни разу за все это время у нас не было каких-либо серьезных травм, хотя нетрудно представить, какими мы возвращались домой. Родители, конечно, ругались, но счастливые лица детей способны были растопить любое сердце, поэтому через день-два ребята в специально заготовленных комплектах боевой одежды снова сидели в грязных канавах, разрабатывая план по захвату противника.

И вот в один из таких летних стратегических дней в нашем дворе появился мальчик Паша, с которым связана история, навсегда отделившая мое беззаботное веселое детство от подростковой скучной серости. Его родители, вернее мама с бабушкой — отец сразу после рождения, как мы узнали позже, ушел от них, а дед умер за несколько лет до Пашиного появления на свет —

переехали в пятиэтажный дом, стоявший посреди двора. В этом же доме жил и наш командир Павел. Паше было семь лет, но в нем не было той упругости и крепости, какая была у наших семилеток. Он был худеньким, на тоненьких ножках, с прозрачной кожей на руках и казался таким хрупким, почти хрустальным, что страшно было к нему прикоснуться. А еще у него были голубые глаза. В первый же день Паша оказался под особой опекой Павла и собачкой везде стал следовать за ним. Голубоглазый оруженосец, как мы иногда между собой называли его. Мы ужасно злились на новенького, но не могли придумать, как ему отплатить. И вот наконец возможность представилась.

Дело было так. Мы, пятеро мальчишек и три девчонки, совершили удачную операцию — захватили главный штаб Павла вместе со всем командным составом. Это была феерическая победа. Наконец-то за все лето нам удалось превзойти стратегический ум предводителя. Мы ликовали. Испытания были придуманы давно, не для наших, а специально для Паши: нужно было перепрыгнуть с крыши на крышу четыре гаража, стоявшие за домом. Высота небольшая, внизу была мягкая трава, да еще притащили старый матрас с мусорки для подстраховки. Для наших это было раз плюнуть, поэтому для них введены были дополнительные акробатические задания: например, перепрыгивая, раскидывать ноги в шпагате, как балерина, или доставать коленями до груди. Павел и его трое штабных справились с этим без проблем. Паша же залез на крышу первого гаража и в нерешительности встал на краю. Так он стоял несколько минут, глядя куда-то сквозь нас. Его начали подгонять, сначала нерешительно, оглядываясь на Павла, потом все увереннее и настойчивее. И вот уже все вокруг загалдели: кто-то посмеивался, кто-то возмущался, а кто-то подбадривал и старался успокоить Пашу, что, мол, ничего страшного здесь нет, главное вниз не смотреть, и тогда не будет страшно. Паша стоял неподвижно, как будто окаменел. Он не спорил и не уходил, а просто стоял на краю, так что мы не понимали, что он будет делать дальше.

— Так ты будешь прыгать или нет, — сказал Петька из нашей команды.

Паша ничего не ответил и продолжал стоять.

— Надо его наказать. Это несправедливо, он тоже должен прыгать, — возмутилась Маша, шестилетка, которая за день до этого по-партизански проползла под огромной кучей наваленных на земле веток и расцарапала себе локти.

И тут мы все как с цепи сорвались. Один за другим выражали мы свое негодование и предлагали жуткие наказания, но обращались не к Паше, а к Павлу, потому что понимали, от кого зависит, будет ли этот поступок иметь последствия. В итоге все сошлись на том, что, по справедливости, лучше всего будет привязать Пашу к дереву. Павел долго противился, но в этот раз мы ни за что не хотели уступить. В конце концов он, видя, что Паша не возражает, согласился, и пленника торжественно повели к большому тополю, единственному стоявшему среди берез за гаражами. Паша не пытался вырваться и даже как будто чувствовал облегчение, что все решилось таким образом. Лишь голубые глаза его как-то посерели. До сих пор помню этот взгляд. Откуда-то появилась изолированная мягкая проволока, и, подойдя к дереву, мы хотели было тут же скрутить ею руки Паши, но неожиданно он уперся и не позволил схватить его за руки. После нескольких попыток мы бессильно уставились на Павла. Тогда он вышел вперед и сказал:

— Паша, не сопротивляйся, мы тебя привяжем, а потом сразу отвяжем. Ты нарушил правила.

Паша сразу как-то обмяк и больше уже не сопротивлялся. Павел взял проволоку и начал аккуратно скручивать руки Паши, привязывая их к дереву. И тут Паша зарыдал. Мы все испугались. Павел начал быстро развязывать руки Паши, но в эту минуту сзади раздался крик Пашиной бабушки. Видимо, в окно она увидела, что творят с ее внуком, и ринулась его спасать. Мы бросились врассыпную, остался только Павел. Он начал было ей говорить, что сейчас развяжет, что это была игра, но она не дала ему закончить, замахнулась на него палкой, отогнала от своего внука и дрожащими пальцами медленно начала развязывать проволоку. Ей никак не удавалось подцепить узел, и Павел, вставший невдалеке, несколько раз порывался помочь ей, но она не подпускала его. Я не помню уже, сколько понадобилось ей времени

на то, чтобы развязать эту злосчастную проволоку, знаю только, что развязала всё сама.

После этого дня Паша с нами больше не играл. Павел тоже выходил редко и в казаки-разбойники больше не играл. А затем начались школьные дни. Без предводителя уже не собиралось такой компании, играли по двое-трое.

...

Мы учились с Павлом в одном университете, я на первых курсах — он в аспирантуре. Встречались, философствовали тогда часто. Несколько лет назад жизнь снова развела нас: он уехал в Москву, женился, воспитывает двух сыновей, а я поселился в Академгородке под Новосибирском, занимаюсь изучением метеоритов и живу холостяком. Прошлым летом мы наконец-то выбрались вместе в поход, и там он вдруг рассказал мне о том случае. На следующий день после того случая его вызвала к себе мать Паши, показала посиневшие руки. Сам Паша отводил глаза и не сказал тогда ни слова. Все потом зажило, последствий не было, но с тех пор они не общались. Однажды, когда Павел уже учился на третьем курсе, Паша вдруг позвонил ему и попросил встретиться. Он был проездом в городе и где-то раздобыл телефон своего бывшего кумира. Павел очень волновался перед этой встречей — совесть терзала его все эти годы, — но в итоге, когда встретились и поговорили, гармонии в душе не восстановилось, не отпустило. Оба хотели вернуть что-то утраченное тогда, в детстве, а чувствовали лишь, что стали невозвратно чужими. Я спросил у Павла, почему он не рассказывал эту историю мне раньше, в университете, а он ответил: «Я только сейчас по-настоящему понял, что натворил тогда. Недавно так же предали моего сына».